

# Обыденное, оригинальное и достоверное при конструировании личности в психологии

*Кеннет Дж. Джерджен*

Gergen, K. J. (1998). The ordinary, the original, and the believable in psychology's construction of the person. In B. M. Bayer & J. Shotter (Eds.), *Reconstructing the psychological subject: Bodies, practices, and technologies* (pp. 111-125). Thousand Oaks, CA: Sage.

Перевод Андрея Корбута

Субъект психологии является исключительно текстуальным существом, родившимся в результате слияния определенных дискурсивных практик. Осмысля субъекта, исследователь едва ли способен выйти за рамки традиции, иначе он перестал бы быть понятным. Однако отливка того или иного характера в доступные дискурсивные формы — рискованное дело. Описания характера — того, что значит быть последовательной и идентифицируемой личностью, — выступают прерогативой в первую очередь простых людей. Они представляют собой центральные составляющие конвенций обыденного языка и потому неразрывно вплетены в повседневные паттерны человеческих отношений. Например, когда люди говорят о своих стремлениях, верованиях, желаниях, надеждах, страхах и т. п., они не только вырабатывают и закрепляют соглашения, касающиеся онтологии личностного способа бытия, но и осуществляют паттерны отношений, базовыми единицами которых выступают подобные категории. (Высказывание «Я обожаю вас» не только утверждает, что состояние обожания присуще человеческим существам, но и одновременно включается в форму отношений, которые в равной степени определяют, что значит быть человеком.) Поэтому позиция психолога сомнительна в двух смыслах: во-первых, в связи с его/ее симбиотической зависимостью от существующих языковых сообществ и, во-вторых, в связи с формами жизни, которые его/ее письмо способно исказить либо разрушить [1].

В центре предлагаемой работы находится вопрос достижения понятности. Текстуальное конструирование личности имеет ключевое значение не только для романистов, биографов или автобиографов; оно также жизненно важно для историков, политологов, теоретиков юриспруденции, философов знания, психологов и многих других. Перед всеми ними стоит непростая задача при помощи слов вызвать ощущение узнавания, ощущение того, что «я знаю и понимаю того, о ком они говорят». В то же самое время любой автор сталкивается с малозаметной, но важной проблемой: он должен опираться на дискурсивную предструктуру, предоставляемую культурой, но растворяющуюся при попытке ее повторения. Писатель должен полагаться на существующие аргументы понимания, иначе его самого перестанут понимать. Писать о том, что кто-то «чувствует впрок» или «хочет по горизонтالي», — значит потерпеть неудачу в кооперативном достижении осмысленности. С другой стороны, воспроизводить существующую предструктуру — значит потерпеть неудачу в установлении различий: создании ощущения того, что данный субъект важен, что его следует выделить из текущей сумятицы повседневной деятельности. Если писатель не предлагает аудитории ничего, кроме общих мест, он теряет свой голос. В худшем случае, его произведения становятся еще одним сухим чтивом.

Каким образом профессиональный психолог, как писатель, маневрирует между опасностями банальности и абсурдности, одновременно заявляя о человеческой природе нечто отличное от общих мест? Эта проблема интересна с нескольких точек зрения. Традиционно риторический анализ концентрировался на художественной литературе, а литературный автор играет очень специализированную роль в культуре. Несмотря на то, что эта роль претерпевает

исторические изменения, она долгое время определялась в терминах свободы писателя. Это означает, что нарушение правил привычной понятности ожидаемо или даже желательно для тех форм развлечения, просвещения или спасения, которые благодаря этому нарушению существуют. Поэтому анализ способов разработки характера в литературном письме, наравне с другими риторическими процессами, может ввести в заблуждение, если распространить его на иные формы литературного конструирования. С ростом риторического сознания в последние годы аналитики стали больше интересоваться литературным измерением гуманитарных наук. Наиболее заметные работы этого жанра — «Тропики дискурса» Хейдена Уайта (White, 1978), «Экономическая риторика» Дональда Макклоски (McClosky, 1985), «Наука в действии» Бруно Латура (Latour, 1987), «Письменная культура» Джеймса Клиффорда и Джорджа Маркуса (Clifford & Marcus, 1986), социологические работы Брайана Грина («Литературные методы и социологическая теория» [Green, 1988]) и Ричарда Брауна («Общество как текст» [Brown, 1971]), а также психиатрически ориентированные труды Дональда Спенса («Нарративная истина и историческая истина» [Spence, 1982]) и Патрика Махоуни («Фрейд как писатель» [Mahony, 1987]). Предлагаемый анализ продолжает эту линию исследований, избирая своим объектом механизмы конструирования характера учеными-психологами [2].

В свете той роли, которую играет научная психология в современной культуре, подобный экскурс приобретает особое значение. Традиционно считается, что строгое и объективное исследование психических процессов должно в конечном итоге вызвать улучшение качества культурной жизни. Чем больше мы будем знать об эмоциях, мыслительных процессах, памяти, мотивации, личностных диспозициях и т. п., тем более обоснованные решения мы сможем принимать в отношении образовательных практик, детского воспитания, выбора карьеры и множества других вопросов, включая лечение и профилактику психических заболеваний. В результате научные описания психических процессов начинают претендовать на истинность, обретение которой требует завоевания превосходства над конкурирующими формами дискурса (и тем самым их маргинализации). И все же, независимо от размаха и строгости исследовательских практик, результирующие описания представляют собой текстуальные образования. Психолог должен не меньше романиста использовать техники литературного конструирования, чтобы сделать научные данные доступными, и чем большей властью над научными описаниями обладают эти техники, тем меньше следов в изображаемом оставляют практики наблюдения, насколько бы строги они не были. Экспериментальные методы, систематическое измерение и изолированные статистические инструменты теряют как свою силу над текстом, так и способность обосновывать его истинность. Они больше не могут ни контролировать способы дискурсивного изображения «субъекта», ни оправдывать их. Поэтому проникновение в область текстуальных механизмов создания субъекта в психологической литературе подрывает объективность подобных описаний и способствует освобождению маргинализированных дискурсов.

В задачу данной работы не входит анализ всего диапазона используемых сегодня риторических техник. Моя цель скромнее — обрисовать три источника ограничений письма в профессиональной психологии, а также способ, которым эти ограничения влияют на форму представления личности. Сначала я направлю внимание на те вопросы, которые поднимает принадлежность психолога к культуре в целом, затем — на проблемы, возникающие в научной субкультуре, и в конце — на текстуальный характер лабораторной практики. Повторюсь: меня интересует только то, как психолог в роли ученого пытается балансировать между одинаково обязательными и противоположными требованиями конвенциональности и оригинальности.

## **Создание субъекта в культурном контексте**

Конечная задача психолога — нарисовать убедительную картину человеческого функционирования для аудитории, которая в течение всей жизни

пыталась функционировать по-человечески. Большинство может похвастаться тем, что относительно неплохо «знает людей»; при этом они склонны рассматривать свою повседневную адекватность в качестве доказательства способности разбираться в происходящем. Профессиональные психологи являются, конечно, точно такими же членами культуры и по этой причине разделяют принятые концепции личности. Этот фон и позволяет им в конце концов справиться с задачей достижения понятности. Подобно Роберту Бертону, который в XVII в. сумел превратить повседневные познания о меланхолии в пятисотстраничный трактат о причинах и способах исцеления этого недуга (Burton, 1977), психологи сегодня входят в стены лаборатории уже веря в то, что у людей есть рациональное мышление, эмоции, память и т. п. Культурная онтология личностного способа существования редко ставится под вопрос, поэтому описания психологов обычно согласуются с окружающим этосом [3].

В этом контексте становятся ощутимы те едва заметные перемены в профессиональном конструировании личности, которые произошли в XX в. Как я попытался показать в другой работе, романтизм XIX в. вдохнул жизнь в обновленную форму средневековой «реальности глубокой внутренней сущности» (Gergen, 1991). Литературные, музыкальные, архитектурные и художественные практики того времени благоприятствовали определению личности в категориях глубинной энергетической силы, часто приравниваемой к душе и укорененной как в духовном, так и в природном мире. Именно проявление глубокой внутренней сущности в верности, вдохновении, горе либо моральных обетах придавало значимость личному существованию. Эти предположения, несомненно, нашли отражение в характере главных героев романтических романов. В психологии данный культурный контекст стимулировал и сделал понятной теорию бессознательного Фрейда. Если бы не предструктура романтического дискурса (см. «Бессознательное до Фрейда» Уайта [Whyte, 1960]), то психоаналитическая теория никогда бы не была сочинена и размножена.

Однако в XX в., когда романтизм потеснил *Zeitgeist* модернизма, глубокая внутренняя сущность отошла на второй план. В современных учебных планах по психологии фрейдовской теории уделяется самое ничтожное внимание (часто как историческому реликту или подходу, пригодному лишь для решения ограниченного круга проблем психического здоровья). В научных лабораториях теории Фрейда вообще не нашлось места. В модернистской культуре преобладает тенденция возврата к просвещенческим представлениям о человеческом функционировании. В XX в. ядром, вокруг которого конструируется характер, вместо глубокой внутренней сущности стали более доступные, по общему мнению, процессы наблюдения и рассуждения. Теперь люди оказываются понятны в основном в силу их переживаний и мыслей. Именно рассуждение и наблюдение, утверждает модернизм, ведут к познанию сути или пониманию, причем не только в науке, но и в визуальных искусствах, архитектуре, музыке, танце и т. д. И именно на способности рассуждения и наблюдения мы должны опираться, чтобы достичь прогресса и процветания [4].

Психологические науки в XX в., определяя форму своего существования, обращались к этому же запасу культурных верований. Две наиболее важные линии исследований в рамках основного потока были направлены на изучение, в первом случае, процесса научения (посредством наблюдения) и, во втором — процесса обработки информации (характера мышления). Каноническими работами в первой области стали труды Дж. Б. Уотсона, Ивана Павлова (в том виде, в каком они популяризируются в Соединенных Штатах), Б. Ф. Скиннера и Кларка Халла, в которых описывались механизмы получения индивидами знаний о мире или научения адаптироваться к миру, каков он есть. Все убеждало читателя в том, что индивид определяется в категориях его умения знать (из опыта) и приспособливаться. В последние годы акцент сместился с научения на информационные процессы («когнитивная революция» в психологии). Многочисленная литература по аспектам внимания, понимания, когнитивных эвристик, сохранения информации и систем памяти обозначает для культуры, что

главными составляющими человеческого характера являются процессы мышления.

Признание истинности обыденных предположений о природе человека свидетельствовало бы о том, что психологические описания были соответствующим образом поглощены доминирующей этнопсихологией. В этом случае психолог всего лишь выразил бы согласие с тем, что известно любому, и тем самым потерпел бы неудачу в производстве «инсайта». Вопрос о трансцендировании остается открытым: каким путем профессия сохраняет свой голос, выходя за рамки общих мест? На мой взгляд, успешное достижение данной цели происходит за счет *метонимической импликации*, когда элементы обыденного диалекта используются в качестве знаков более общих, но неартикулированных целостностей. Развивая или дополняя образы, содержащиеся в этих фрагментах, ученый-психолог придерживается конвенций здравого смысла, но предлагает подлинно свежие идеи. Так, к примеру, характеризовать людей привычными словами как «умеющих находить дорогу» и обладающих «хорошим чувством ориентировки» — значит косвенно вводить более общий образ индивида как владельца своеобразной карты. Сопоставив его с широким акцентом на процессах рассуждения в модернистской культуре, результирующая теория легко приходит к терминам «когнитивного картографирования». Так, исследователи, начиная с Чарльза Толмена в 1930-х гг. и заканчивая экологическими психологами в 1980-х гг., предлагают культуре корпус теории (и подкрепляющих ее исследований) природы когнитивных карт (см., например, книгу Найссера «Познание и реальность» [Найссер, 1981]). Подобное теоретизирование понятно главным образом потому, что оно строится на базе конвенций здравого смысла. Но разрабатывая образ, содержащийся в этих конвенциях, более глубоко, оно вызывает ощущение оригинального научного вклада.

Две особенности этого процесса достойны особого внимания: первая заключается в экспансии культурного концепта личности в психологии, вторая — в его сужении. В первом случае, после того, как теоретик разработал общий образ, содержащийся в различных фрагментах осадочного дискурса, этот образ может подвергаться процессу *пропозиционной распаковки*. То есть, локализовав руководящий образ или метафору человеческого бытия, психолог может дедуктивно вывести из него цепочку последовательных пропозиций. Распаковывая скрытую сеть значений, теоретик открывает новый порядок пропозиций в отношении природы человека, которых нет напрямую в обыденном языке. Например, один из наиболее риторически мощных образов в современной психологической литературе — образ сознания как вычислительного устройства или разновидности компьютера. На эту метафору наталкивают многочисленные знакомые описания людей, которые «вычисляют», «держат сведения в голове», «хранят воспоминания» и т. д. Найдя эту метафору, теоретик может сделать картину человеческого существа более живой с помощью терминов, заимствованных из сферы компьютерных технологий. В нынешних теориях рассматриваются, например, такие темы, как распознавание свойств, хранение информации, вместительная способность, рабочая память, воспроизведение информации, семантические коды, сенсорное сохранение и процессы раскодирования, которые не были изначально частью идиом здравого смысла, но которые могут ими стать, если созданная психологом конструкция личности получит статус «принятого знания».

Одновременно с разработкой доминантных образов, приводящей к неожиданным концептуализациям личности, психология так же ограничивает культурное конструирование характера. В своей естественной среде, т. е. в неформальной коммунальной жизни, означающие персонального бытия подвергаются непрерывной катахрезе. Фрагменты описания личности попадают в многочисленные существующие и только возникающие контексты без риска социальных санкций. Иными словами, согласно Деррида, означающие имеют относительно высокую степень свободы и потому их история и сложность пройденных ими путей все время увеличиваются. Но после того, как ученый-психолог присвоил культурный аргумент, заключил его в границы определенного

образа и распространил соответствующий язык в культуре в форме «научного знания», культурные означающие начинают сдерживаться. Они игнорируются или порочатся как «наивный язык». Например, по мере того как профессия все чаще определяет характер человека в компьютерных терминах, такие обыденные понятия, как «вычислять», «планировать» и «думать», теряют свое коннотативное богатство. «Думать о чем-то» означает теперь не «следовать внутреннему вдохновению» (один из коннотативных путей этой фразы), а «включать программы пропозиционной логики», как правильно запрограммированный компьютер. При такой дифинитивной фиксации не только пропадает лингвистическая гибкость; нормализация компьютерной метафоры приводит к отмиранию таких категорий, как «дух», «страсть», «душа», «творчество», «настроение» и «вожделение». Они идут вразрез с доминирующим образом разума как компьютера и поэтому не подходят для понимания человеческого характера [5].

## **Конструирование личности в научной культуре**

Представители социальных наук — члены не только культуры в целом, но и определенных гильдий или «интерпретативных сообществ», существующих внутри академического пространства. Эти сообщества имеют свои истории текстуального формулирования и внутреннее понимание природы человеческого характера. В той степени, в какой ученый стремится быть понятным, он или она должен конструировать личность в границах конкретных традиций. Можно долго рассказывать многочисленные истории об этих границах и их нарушениях. Однако есть среди них одна, особенно уместная в качестве иллюстрации того, что многие называют крушением эмпирической традиции в последние десятилетия, а также связанным с ним снятием разграничений между наукой и искусством (фактом и вымыслом, реальностью и мифом, буквальным и метафорическим). И это опять же история о балансировании между конвенцией и контрконвенцией при конструировании личности. Но особенно интересен ее иронический финал. В попытке преодолеть диктуемые консенсусом представления психологи успешно ниспровергли основополагающие представления эмпирической науки. Стремясь доставить «наслаждение текстом», они лишили научный текст объективной базы.

Когда-то ученые-психологи разделяли с научным сообществом определенный взгляд на ученого. Этот взгляд, в основном сконструированный в рамках философии логического эмпиризма, рисует ученого героем. Ученый предстает человеком (феминистские критики утверждают, что это традиционно гендерная роль), которому его навыки наблюдения и рассуждения позволяют преодолевать обыденные мнения и политические предрассудки, раздвигать границы известного и извлекать истину из природы. (Сходство подобного портрета ученого-героя с описанным Джозефом Кэмпбеллом героическим мономифом вряд ли случайно.) Поэтому получившие научную подготовку профессиональные психологи выходят на исследовательскую арену с уже готовым представлением об идеальной личности, понятность которого налагает серьезные ограничения на те образы человеческого бытия, которые могут быть получены в ситуациях исследования.

В свете тесной связи между эмпиристской конструкцией ученого и модернизмом в XX в. уместно вспомнить о предыдущих замечаниях по поводу центрального положения научения и познания в психологии. Научная психология никогда не смогла бы реабилитировать романтический взгляд на человеческое функционирование, поскольку он противоречит образу героического ученого. Для героя-ученого доказать с помощью рассуждения и наблюдения, что рациональность и восприятия людей управляются бессознательными, иррациональными силами, — значит разрушить сам образ, лежащий в основе науки. Ученых-психологов фактически обязали нарисовать такую картину человеческого функционирования, которая бы прославляла способности рассуждения и наблюдения. Работы Джорджа Келли по психологии личности прекрасно иллюстрируют желание согласовать представление ученого о себе с его описанием человеческого характера в общем. На первых страницах «Теории

личности» Келли пытается вместо романтического представления о движимом глубинными силами существе кратко изложить свою теории личностного познания: «Давайте посмотрим на „человека — ученого“... Когда мы говорим о „человеке — ученом“, то имеем в виду всех людей, а не только их особый класс, представители которого достигли положения „ученых“... Обычно говорят так: *конечная цель ученого — предсказание и управление*. Это краткое утверждение часто любят цитировать психологи, характеризуя свои собственные устремления. Однако, как ни странно, психологи редко приписывают аналогичные устремления людям, занятым в их экспериментах в качестве испытуемых. Получается так, как если бы психолог говорил себе: „Я, будучи *психологом* и, следовательно, *ученым*, провожу этот эксперимент для того, чтобы улучшить предсказание определенного феномена и управление им; тогда как мой испытуемый, будучи всего лишь человеческим организмом, явно движим бьющими внутри него ключом неодолимыми влечениями“... Итак, что можно было бы ожидать, если бы заново поставили вопрос о человеческой мотивации и воспользовались взглядами на человека в долговременной перспективе, чтобы сделать вывод о том, чем именно задается направление его устремлений? Увидели ли бы мы его вековой прогресс в качестве функции от инстинктивных потребностей, биологических нужд или сексуальных побуждений? Или, быть может, в этой перспективе он обнаружит массовую тенденцию совершенно иного рода? Не окажется ли, что отдельная личность, каждая по-своему, присваивает себе скорее положение ученого, всегда стремящегося предсказывать ход событий, в которые она вовлечена, и управлять им? Не будет ли каждый человек иметь свои теории, проверять свои гипотезы и оценивать свои экспериментальные доказательства?» (Келли, 2000, с. 12—14). На основе последнего предположения Келли выстраивает дальше свою теорию человеческого функционирования.

Однако если бы социальный ученый демонстрировал научному сообществу лишь вариации своего образа, его/ее никто бы не заметил. Теоретические характеристики личности были бы простым повторением того, «что всем нормальным ученым давно известно». Поэтому главная проблема теоретика — превзойти границы привычной для научного сообщества понятности, одновременно сохранив ее. Эта проблема решается главным образом через процедуру пропозиционной распаковки, описанную выше. Ученый сосредотачивается на прояснении одной или нескольких подчиненных пропозиций, выводимых из доминирующей метафоры, но не копирующих ее. Так, например, все упомянутые выше центральные темы исследований когнитивных психологов выводятся из более общего мифа рационального ученого. Они достаточно необычны, чтобы создать впечатление появления нового знания, но в их основе все же лежит миф героического ученого.

Именно в этом месте была подготовлена почва для названного ниспровержения. С расширением значений и артикуляцией новых форм дискурса границы доминантной метафоры размываются. Ее изначальный смысл искажается, рассеивается и, в конце концов, подвергаются угрозе уничтожения со стороны конкурирующих образов. Или, в смысле Деррида, по мере того, как пути исходного означающего удлиняются, наступает момент, когда оно подвергается деконструкции. Как раз такое распутывание господствующей метафоры помогло подорвать эмпиристскую концепцию ученого (и, следовательно, привилегию научного дискурса).

В частности, в результате прогрессирующей распаковки метафоры индивида как вычислительного устройства в различных исследовательских ситуациях индивиду начал приписываться все более широкий набор проактивных атрибутов. Индивид стал *активно искать* решения, перебирать воспоминания, составлять и осуществлять планы, обрабатывать информацию и т. д. в соответствии с внутренним замыслом. Обычно считается, что человеческими существами двигают процессы, направленные «сверху вниз» (рациональность, воздействующая на мир), которым противоположны процессы, идущие «снизу вверх» (мир, определяющий, что рационально). Однако если индивид в образе компьютера становится все более похожим на автомат, работающий «сверху вниз», импульсы из среды пресекаются,

т. е. становится сложно говорить об индивиду как о реагирующем на стимулы реального мира, потому что характер объективного окружения определяется внутренними операциями компьютероподобного индивида. Реальность внутри машины предопределена или задана только самой ее конфигурацией. Именно по этой причине Гринвальд охарактеризовал когнитивную систему как «тоталитарную» (Greenwald, 1980). Она закрыта для внешнего влияния и стремится лишь к самосохранению.

Но в той степени, в какой люди изображаются в виде автоматов или компьютеров, в которых процесс определения того, «что происходит», направлен «сверху вниз», традиционный образ ученого-героя становится невозможным. В этой новой истории ученые больше не находят и не раскрывают природу неизвестного; в своих работах они способны обнаруживать лишь характер собственных машинных операций. Они регистрируют и отражают мир не таким, каков он есть, а таким, каким требуют их собственные системные процессы. То есть сама попытка утвердить и развить образ человеческого существа как рационального агента перечеркивает традиционное понятие рациональности, ядром которого выступает успешная адаптация к существующим обстоятельствам. Абсолютно рациональный индивид становится иррациональным.

### **Личность в лабораторном контексте**

Третья точка напряжения между банальным и экзотическим возникает в контексте эмпирического исследования в психологии. Традиционные ученые в подтверждение своих слов чаще всего ссылаются на методологические процедуры. В частности, считается, что контролируемый эксперимент позволяет объективно и строго отследить каузальные источники «поведения организмов» (от одноклеточных до целых обществ). Обычно предполагается, что наблюдая поведение в систематически меняющихся условиях, ученый может проследить каузальные связи между причинами и следствиями точным и воспроизводимым путем. Каким бы образом не конструировался человеческий характер в научной психологии, его контуры должны быть близки (в целях логической последовательности) к этому центральному оправдательному тексту.

Можно указать множество способов взаимодействия предструктуры методологической понятности с психологическим рисунком человеческой природы. Так, например, концепция эксперимента предполагает, что «испытуемым» предъявляются «стимулы», которые выступают «каузальными условиями». Действия испытуемого в экспериментальных условиях рассматриваются как «реакции», вызванные стимулами. Многим исследователям выводившаяся отсюда характеристика человека кажется морально проблематичной, поскольку такой взгляд на методологию фактически вычеркивает дискурс произвольности. Так как «стимульные условия вызывают реакции», ученому нельзя сделать вывод, что испытуемые произвольно выбирают последующие действия. Произвольный импульс, по сути, был бы чем-то вроде беспричинной причины, и поэтому он выпадает за рамки онтологических опор метода. Хемптон-Тернер (Hampton-Turner, 1970) писал: «Глаза исследователей лишены... первобытной чистоты; их орудиям предсказания и контроля нужен предсказуемый и контролируемый человек, чтобы провести Настоящий Эксперимент. Вот какой загадкой оборачивается человек. Уважаемый Доктор Джекилл открывает Мистера Хайда, зверь в человеке раскрывается бесчеловечными инструментами» (с. 4). Похожим образом рассуждают Гигеренцер и Мюррей, которые в своей книге «Познание как интуитивная статистика» (Gigerenzer & Murray, 1987) показывают, что доминирующие понятия статистической логики, неотъемлемые от экспериментальной процедуры, служат базой для теорий человеческого познания. Как они считают, статистические орудия ученых, которые «считаются обязательными и престижными, ведут к трансформации метафор сознания» [6]. Методология вписывается в изображаемый человеческий характер.

На мой взгляд роль методологии гораздо шире, чем только влияние на психологическую концепцию личности. В значительной степени формы

методологического письма также отвечают на следующий вопрос: если цель научной деятельности — внести оригинальный вклад, который заключается в новой конструкции личности, то как ее можно надежно выразить в обыденных идиомах, посредством которых понимается мир? Выше я частично ответил на этот вопрос и сейчас попытаюсь расширить горизонт, сфокусировавшись на методологических процедурах. Эти процедуры обеспечивают психологу голос, но не на основе базовой рациональности, утверждающей превосходство миметических способностей данного научного описания, а, скорее, на основе риторической власти. Именно риторика экспериментальной процедуры оживляет или делает реалистичным закрытый аргумент теоретика. При помощи методологических процедур абсурдный язык преобразуется в правдоподобные объяснения человеческой природы.

Проиллюстрировать процесс осуществления подобной онтологической трансформации удобно было бы текстом из научных анналов. В данном случае это стандартный исследовательский отчет (Bandura, Cioffi, Taylor, & Brouillard, 1988), появившийся в очень престижном психологическом журнале — «Журнале социальной психологии и психологии личности». Исследование проводилось в одной из самых выдающихся психологических лабораторий страны (Стэнфордский университет) и финансировалось Национальным институтом психического здоровья и Национальным научным фондом. Уже само название отчета — «Воспринимаемая самооффективность при совладании с когнитивными стрессорами и опиоидной активацией» — сообщает читателю, что его содержание откроет тайны загадочного или неизведанного мира. Используемые термины, лишь отдаленно связанные с повседневным языком, своей непроницаемостью дают понять, что только серьезный ученый сможет оценить их значимость.

Исходя из нашей перспективы главной задачей авторов видится придание чужеродному теоретическому дискурсу осязаемости, т. е. получение от читателя согласия с тем, что «да, этот язык описывает события в настоящем и всем известном мире». В данном случае это не так уж просто, поскольку в своей абстрактной и деконтекстуализированной форме такие теоретические понятия, как «воспринимаемая самооффективность» и «когнитивные стрессоры», безнадежно двусмысленны. «Воспринимаемая кем: мной, друзьями, знакомыми, психологом? Надо ли понимать «восприятие» в смысле непосредственного чувствования, дедуктивной категоризации, интерпретации, интуиции или как-либо еще? Полагается ли под «воспринимаемым» достоверно неизвестное, как в случае противопоставления «воспринимаемого мира» и «действительного мира»? А что означает понятие «самооффективность»? Речь идет о телесном Я, духовном Я, бессознательном Я, свободном Я или чем-нибудь еще? Следует ли читать «оффективность» как «достижение», «воздействие», «силу», «результативность» или как-то по-другому? Термин «когнитивный» при этом отсылает к мышлению, восприятию, воспоминанию, намерению, планированию и множеству других возможностей. Они все подразумеваются? Какое из них нам надо избрать? Эти когнитивные способности сознательны или бессознательны, мотивированы или немотивированы, желательны или нежелательны? Здесь язык опять обнаруживает свою туманность. Термин «стрессор» тоже интерпретируется разными способами (вызывающий физическое напряжение, направляющий, формирующий, делающий более гибким и т. д.). В каждом из этих переводов встречаются следы других означающих из постоянно расширяющегося порядка незаконченного означивания.

Вводная часть отчета обеспечивает исходную уверенность в том, что теоретические категории указывают на объективные данные (означаемое). За это отвечают два риторических процесса: во-первых, *социальное подтверждение* и, во-вторых, *концептуальный сдвиг*. Подтверждающая функция реализуется главным образом через цитирование других научных отчетов с близким предметом изучения. Лучше всего подходят исследования, проводившиеся в той же самой лаборатории, поскольку, вероятно, только она предоставляет привилегированный доступ к рассматриваемому феномену. Но цитировать работы только одной лаборатории — значит дать повод усомниться в существовании явления, поэтому множество дополнительных метафор служит цели снятия остающихся сомнений.

Читателю говорится, например, что «результаты различных исследований подтверждают важную роль воспринимаемого контроля при стрессовых реакциях (Averil, 1973; Lazarus & Folkman, 1984; Miller, 1980)». Из отчета создается впечатление настолько безусловного существования феномена, что другие исследователи уже начали успешно квалифицировать и углублять знание о его функционировании. Нас ставят в известность, к примеру, что «в некоторых исследованиях способности контроля было показано, что простое установление личного контроля над появлением неприятных событий, даже без снижения их интенсивности, уменьшает стрессовые реакции (Gunnar-von-Gnechten, 1978)». Однако в конце концов эти многочисленные подтверждающие документы оказываются неадекватными, поскольку, по словам авторов, «предыдущие исследования полагались на вероятное допустимое посредничество манипуляций, а не прямой оценки». Или, если применять метафору ученого-героя, другие ученые на самом деле не наблюдали таинственное явление, а просто спекулировали на своих результатах.

Для придания дополнительной достоверности экзотическому языку помимо социального подтверждения через цитаты (техника, которая для тех же целей служила самим цитируемыми авторам) применяется концептуальный сдвиг. Под ним я понимаю процесс, посредством которого двусмысленный термин наделяется значением через парафраз или сдвиг к другим концептам. Иногда происходит сдвиг к обыденному языку. Читатель узнает, например, что «воспринимаемая самоэффективность связана с верой человека в свою способность мобилизовать мотивацию, когнитивные ресурсы и способы действия, необходимые, чтобы справиться с требованиями данной ситуации». То, что определение дано в более-менее понятных терминах, риторически подтверждает существования феномена. Если мы не уверены в том, что  $X$  существует, то наша вера окрепла бы, узнай мы, что на самом деле  $X =$  предположительно существующему  $Y$ . При этом реальная идентичность  $Y$ , не совпадающая с эквивалентной идентичностью таинственного  $X$ , не уточняется, как будто это очевидно. Что означает, например, «мобилизовать мотивацию»? Тратить больше калорий, подбадривать себя, вовлекаться в дающие больше адреналина ситуации или что-нибудь еще? В других местах вводной части концептуальный сдвиг сакральной терминологии направляется больше в сторону от повседневного языка. Например, лишь немногие, за исключением избранных членов священного сообщества знающих, поняли бы определение когнитивного стресса: «Психологический стресс — результат относительного состояния, в котором воспринимаемые запросы среды превосходят или подавляют воспринимаемые способности совладания в личностно значимых областях». Все слова полны глубины («стресс», «запросы», «превосходят», «подавляют», «совладание»), но мало чем способствуют уменьшению двусмысленности мнимого феномена.

Гораздо более существенна для достижения онтологической трансформации вторая часть отчета — «Метод». В ней ученые сообщают о процедурах, использованных ими для проведения своего исследования. Она написана тем простым или буквальным языком, который призван позволить другим ученым воспроизвести (и значит, объективно оценить) описанное исследование. Нам же важнее всего то, что исследователи сообщают о средствах выявления или установления теоретически специфицированного феномена повседневным языком. Такие определительные звенья («операциональные дефиниции») обеспечивают прямое уравнение, в котором  $X$  (в экзотическом языке) =  $Y$  (в повседневном диалекте). Читателя осведомляют о том, что мистифицирующий теоретический язык можно в действительности свести к известным всем, абсолютно осязаемым фактам. Например, из предлагаемой рукописи мы узнаем, что условия, необходимые для производства «воспринимаемой самоэффективности», создаются путем помещения студентов колледжа в ситуацию «решения математической задачи» за 18 минут. «Высокая воспринимаемая самоэффективность» достигается, когда студенты могут работать над арифметическими заданиями с собственной скоростью; «низкая воспринимаемая самоэффективность» имеет место, когда проблемы предъявляются студентам быстрее, чем обычно требуется для

решения. Состояние измеряется опросником, в котором студентов просят оценить свою уверенность в решении проблем. «Когнитивный стресс» также оценивается опросником, в котором у студентов спрашивают, какой силы «стресс» и «психическое напряжение от нехватки времени» они испытывали. В результате чуждый дискурс становится близким, превращаясь в часть комфортного обыденного окружения.

Но онтологическая трансформация еще не завершена, поскольку, теоретический язык, останься он привязанным к обыденным операциям, можно было бы легко посчитать излишним. Почему, спрашивается, он настолько важен, если все можно описать и обыденным языком? Третья часть рукописи, заключающая результаты исследования, ограждает от таких вопросов. В ней операциональный или повседневный язык предшествующей части прогрессивно избегается или подавляется. Исследователи все больше возвращаются к непривычному или экзотическому жаргону. Мы узнаем, например, что «воспринимаемо самонезэффективные испытуемые обнаруживали повышенную частоту сердцебиения, в то время как воспринимаемо самоэффективные не показали значимых отклонений в сердечном ритме». Простыми словами это можно выразить как то, что у решавших задания в быстром темпе сердце билось чаще, чем у действовавших с собственной скоростью. Однако такая форма описания не вводится. Цель состоит в утверждении реальности экзотического языка, что достигается в значительной степени благодаря обращению к указанному выше уравнению экзотического и само собой разумеющегося. Как только это уравнение получено, вторая его часть может быть по умолчанию опущена.

Рассматриваемое исследование характеризуется исключительной объективацией ментальной терминологии, поскольку стремиться показать каузальную связь психического и материального миров. Вследствие того, что материальный мир в культуре модерна обычно считается объективным, а онтологический статус психологических терминов — подозрительным, продемонстрировать влияние психологических состояний на физические — значит сделать существование этих психологических состояний более прочным. Предполагаемое субъективное (и поэтому дискредитируемое) становится объективным. Такая «каузальная связь» устанавливается в нашем примере путем демонстрации того, что в зависимости от своего восприятия самоэффективности (психологическое состояние) испытуемые оказываются больше или меньше восприимчивыми к химическому препарату, налоксону, который блокирует опиатные или болеутоляющие рецепторы (физическое состояние). В этом описании воспринимаемая самоэффективность рассматривается как независимая реальность, несводимая к решению математических задач.

В заключительной части статьи — «Дискуссии» — онтологическая трансформация полностью завершается, так как здесь полностью исчезает привычная понятность. Читатель знает из предыдущего, что чуждый язык отсылает к конкретным осязаемым событиям, сводимым к общеизвестному. Теперь, когда названная связь установлена, можно говорить почти полностью в новой онтологии. Читателю уверенно сообщается, например, что «результаты нашего эксперимента свидетельствуют о том, что воспринимаемая самоэффективность при совладании с когнитивными стрессорами активирует эндогенные опиоидные системы». Реальность новой онтологии расширяется в дальнейшем посредством связывания ее с другими экзотическими, но научно приемлемыми описаниями. Наконец, чтобы придать вновь созданной реальности повседневную значимость, подчеркиваются ее важность для личного здоровья: «Все большее количество данных свидетельствует о том, что стресс от неэффективного совладания... наносит вред клеточным компонентам иммунной системы». Новоиспеченная личность, наполненная восприятиями самоэффективности, подготовлена лабораторной литературой к тому, чтобы отважиться вступить в схватку с когнитивными стрессорами окружающего мира.

## **Заключение**

Психолог не меньше писателя вовлечен в литературный процесс изображения человеческого сознания увлекательным и понятным. Фокусирование на характере этих проблем и средствах их решения в гуманитарных науках ставит под угрозу традиционную привилегию объективности, закрепленную за ученым. Но это не означает конца психологического исследования. То, что психологические описания риторически структурированы и в сущности создают свой предмет, не является основанием для отказа от них. Как я показал в работе «Реальности и отношения» (Gergen, 1994), психологические термины являются важными составляющими культурных практик. Без словаря намерений, эмоций, разума, надежды и т. д. культурная жизнь претерпела бы радикальные изменения; большая часть того, что дорого нам в наших традициях, было бы утрачено. Кроме того, психология — уникальная дисциплина, строящаяся вокруг обсуждения этого словаря. Расширяя набор культурных концепций сознания, мы, возможно, увеличиваем насыщенность и богатство культурной жизни. Но осуществлять такое обсуждение безотносительно к процессу овеществления и не обращая пристального внимания на то, как психологический дискурс может быть использован в обществе, одновременно и близоруко, и опасно. Нам достаточно спросить себя, было ли изобретение нескольких сотен категорий словаря «психических болезней» в XX в. вкладом в культурную жизнь, чтобы увидеть это. Настоящий текст писался в надежде на усиление профессионального осознания существующих недостатков и будущего потенциала.

## Примечания

Более ранняя версия этой статьи была опубликована в 1990 году в *Style*, 24, 365-379.

[1] Для критической оценки влияния психологического дискурса на социальную жизнь см., например, Sampson (1993) и Greenberg (1994).

[2] Настоящая работа продолжает мои предыдущие разработки по теме использования нарратива (Gergen & Gergen, 1988), метафоры (Gergen, 1990) и риторики (Gergen, 1992) при конструировании объективно осязаемых личностей.

[3] Для более полного описания современных допущений о личностном способе существования и их исторических истоков см. работу Амелии Рорти «Разум в действии» (Rorty, 1988). Для обсуждения психологического дискурса в историческом контексте см. Graumann and Gergen (1996).

[4] См., например, осуществленное Лиотаром (Лиотар, 1998) описание модернистского нарратива прогресса.

[5] Для более детального описания того, как язык психического здоровья сократил повседневный словарь объяснения, см. Gergen (1994, гл. 5).

[6] См. Danziger (1990) для освещения дискуссии по поводу того, каким образом с трансформацией предпочитаемой методологии в XX веке менялась характеристика личности в психологии.

## Литература

- Келли Д. Теория личности: психология личностных конструкторов / Пер. с англ. А. А. Алексеева. — СПб.: Речь, 2000.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998.
- Найссер У. Познание и реальность / Пер. с англ. В. В. Лучкова. — М.: Прогресс, 1981.
- Bandura, A., Cioffi, D., Taylor, C. B., & Brouillard, M. (1988). Perceived self-efficacy in coping with cognitive stressors and opioid activation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 55, 479-488.
- Brown, R. H. (1971). *Society as text*. Chicago: University of Chicago Press.
- Burton, R. (1977). *The anatomy of melancholy*. New York: Vintage.
- Clifford, J., & Marcus, G. (Eds.). (1986). *Writing culture*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Danziger, K. (1990). *Constructing the subject*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gergen, K. J. (1990). Metaphors of the social world. In D. Leary (Ed.), *Metaphors in the history of psychology* (pp. 267-299). Cambridge: Cambridge University Press.
- Gergen, K. J. (1992). The mechanical self and the rhetoric of reality. *Annals of Scholarship*, 9, 87-109.
- Gergen, K. J. (1994) *Realities and relationships: Soundings in social construction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gergen, K. J., & Gergen, M. M. (1988). Narrative and the self as relationship. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 21, pp. 17-56). New York: Academic Press.

- Gigerenzer, G., & Murray, D. (1987). *Cognition as intuitive statistics*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Graumann, K. F., & Gergen, K. J. (Eds.). (1996). *Historical dimensions of psychological discourse*. New York: Cambridge University Press.
- Green, B. (1988). *Literary methods and sociological theory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Greenberg, J. (1994). *The self on the shelf*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Greenwald, A. (1980). The totalitarian ego: Fabrication and revision of personal history. *American Psychologist*, 35, 603-618.
- Hampden-Turner, C. (1970). *Radical man: The process of psycho-social development*. Cambridge: Schenkman.
- Latour, B. (1987). *Science in action*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mahony, P. (1987). *Freud as a writer*. New Haven, CT: Yale University Press.
- McClosky, D. (1985). *The rhetoric of economics*. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
- Rorty, A. (1988). *Mind in action*. Boston: Beacon Press.
- Sampson, E. E. (1981). Cognitive psychology as ideology. *American Psychologist*, 36, 730-743.
- Sampson, E. E. (1993). *Celebrating the Other: A dialogic account of human nature*. Boulder, CO: Westview Press.
- Spence, D. (1982). *Narrative truth and historical truth*. New York: Norton.
- Stam, H. J. (1987). The psychology of control: A textual critique. In H. J. Stam, T. B. Rogers, & K. J. Gergen (Eds.), *The analysis of psychological theory* (pp. 131-151). Washington, DC: Hemisphere.
- Weston, C., & Knapp, J. V. (1989). Profiles of the scientific personality: John Steinbeck's "The Snake". *Mosaic*, 22(1), 87-99.
- White, H. (1978). *Tropics of discourse*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Whyte, L. L. (1960). *The unconscious before Freud*. New York: Basic Books.